

И.А.
БУТЧИН

Собрание сочинений в девяти томах //Художественная литература,
Москва, 1967
FB2: "fb2design ", 25 August 2011, version 1.01
UUID: 80B4A5C7-A70D-47A5-B563-7807480FB7A9
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Алексеевич Бунин

Крик

Содержание

#1	0005
Комментарии	0015

Иван Алексеевич Бунин

КРИК

Однажды, ранней весной, шли мы в Батум из Порт-Саида.

В Стамбуле были чумные случаи, дела наш грузовик там не имел; мы решили миновать Золотой Рог, а рассвета дожждаться в Коваках, у входа в Черное море: ночью из Босфора не выпускают. И вот отправили с нами из Дарданелл двух турок, двух карантинных стражей, дабы они удостоверили, придя в Коваки, что остановки на Босфоре не делалось.

Снялись мы из Дарданелл в четыре. В пять матросы обедают. Перед обедом полагается им по манерке спирту. Но был чистый четверг, некоторые сочли за грех пить в такой день. А чтобы спирт не пропадал даром, поднесли — для потехи — туркам. Спирт свалил их, непривычных к вину, с ног, и они заснули: один, рослый, дюжий, на корме, над самым винтом, другой, маленький, на крышке трюма между кормой и машинной частью. И перед тем, как заснуть, этот маленький долго бормотал и по-турецки, и по-гречески, и даже по-русски:

— Русс — карашо, араб — нет карашо!

Он рассказывал, что у него, человека про-

стого и бедного, жена была такая красавица, что он даже по имени не звал ее никогда, а говорил: «Джаным, сердце мое», что она уже давно умерла, родив ему сына, что и сын его был красив, нежен и почтителен, как девушка, да увезли его в Стамбул, отправили на войну, в Аравию. А уж из Аравии не вернешься, нет! — говорил он. И, вскакивая, громко вскрикивал, как бы стреляя из карабина, падал на спину, изображая убитого наповал, и задирали свои кривые ноги в шерстяных полосатых чулках. Штаны его, очень узкие книзу, были в заплатках, мундир — коротенький, истрепанный, феска грязная, бараньи глаза мутны, усы вислые, подбородок давно не брит, лицо все в морщинах. И матросы хохотали и жалостно говорили:

— Вино-то, вино-то, братцы, что делает!

Вечером я лег спать, приказав разбудить себя, лишь только откроется маяк. Около двух часов ночи вестовой постучал в дверь моей каюты и негромко сказал:

— Подходим.

Я оделся и вышел. В кают-компании тускло и печально горел один рожок. Легкий све-

жий бриз дул в открытую дверь, за которой синела лунная ночь, и, сухо шелестя, чуть трепетали перистые веточки карликовой японской пальмы, стоявшей в горшке у камина. Среди тишины, царившей всюду, выделялись только этот шелест да медленное постукивание стенных часов. А чуть слышный звон рюмок, которыми увешан потолок в буфете, и та слабая дрожь, которой дрожит весь пароход от машины, работающей в глубине его глухо и мерно, как огромное сердце, не нарушали тишины. Я вышел на левый борт — и загляделся на приближающийся Стамбул, на редкие ночные огни его, матово блестящие за белесым тонким паром, на его призрак, фантастический и величавый, таинственно-бледный на синеве лунной ночи...

Потом поднялся на мостик. Глядя вперед, за фок-мачту, дежурили у телеграфа капитан и вахтенный помощник, в шапках, в теплых куртках. Они не обернулись, когда я стал за ними, возле штурманской рубки, где, в сумраке, держась за рога рулевого колеса и не спуская глаз с компаса, освещенного низко спущенной электрической лампочкой под кол-

паком, каменел рулевой. Они, тоже завороченные ночью и Стамбулом, роняли слова команды медленно, вполголоса.

— Пять градусов лево, — бесстрастно, не оборачиваясь, говорил капитан.

— Есть пять градусов лево, — протяжным сильным альтом отзывался рулевой.

Мерно, медленно отдавались из глубины вздохи машины, и медленно шло и развертывалось перед нами сказочное царство великого города.

— Так держать, — просто и осторожно говорил капитан.

— Та-ак держа-ать! — на четыре тона выше брал рулевой.

Я поднялся на штурманскую рубку... Мертвый штиль. Полная ясная луна стоит справа, почти сзади нас, над туманными силуэтами Принцевых островов. Огромная золотая полоса продольно блещет между ними, под той тенью, что всегда лежит по горизонту за лунным блеском. Блеск зеленоватого стекла возникает и гаснет, переливается по волнам возле самого борта. Но все в отдалении, — и холмистые побережья, и Золотой Рог, медленно

раскрывающийся перед нами, и бледные призраки Скутари, Стамбула, Галаты, — все подернуто матово-белесой чадрой, нежной, прозрачной, как драгоценные брусские газы. И за этой чадрой, как несметные глаза, таинственные и прекрасные, матово и недвижно блещут несметные, далекие и близкие огни: золотые, мелкие — густо насыпанные, среди темных садов, на skutарийском берегу; роями усеявшие сверху донизу гору Галаты; изумрудные и рубиновые, крупные — на мачтах в Золотом Роге, на буюх сторожевых лодках, длинно отражающиеся в зеркальной воде; редкие и сонные — в Стамбуле, спящем с открытыми блестящими глазами на своих холмах против луны... Я различал деревянные дома его предместий, легкие высокие минареты вокруг чашеобразных куполов белой Ахмедия, древний, дорогой мне купол Софии, сады Сералья и серую стену дворца Константина. Я опять обонял этот особый, сладкий и сухой аромат берегов Турции... Вдруг откуда-то издалека пронесся в тишине чей-то слабый рыдающий зов.

— Юсу-уф! — крикнул кто-то.

Все ближе роились огни. Мы шли, а мимо нас несло назад красные фонарики на сторожевых лодках. Я подумал: это, верно, кто-нибудь на сторожевой лодке крикнул; может быть, это убийство и вопль о пощаде; может быть, контрабандиста-грека поймали.

Вот опять негромкая команда и альт рулевого. Луна меняет место, надвигается справа скутарийский берег — далеко по зеркальной воде легла тень его. Уже прошла гора Галаты, сплошь залитая каменным городом, подернутая прозрачно-белым покровом. Сзади остались два сонных сквозных изумруда, низко, один над другим повисших над водою, — там, где торчит из воды белая башенка Леандра. Нос парохода медленно поворачивает, — закрывается выход в Мраморное море, блестящий, как стеклянно-золотое поле, возле Серальского мыса. Это поле меркнет; раздается короткий хрустальный звон нашего телеграфа; мы все круче забираем вправо. Теперь уже нигде нет блеска. Беломраморные дворцы тянутся по левому побережью, купая в воде широкие ступени своих мраморных пристаней. Тень достигает и до них; зеленова-

то-бледен в тени мрамор...

— Юсуф! — опять долетает откуда-то изда-
лека.

Я прислушиваюсь.

— Юсуф! — страстно, захлебываясь слеза-
ми, кличет голос с кормы. — Юсу-уф!

Спустившись с рубки, я быстро пошел ту-
да. Сбежал по трапу со спардека, прошел воз-
ле мерно и глубоко вздыхающей машины, об-
давшей меня своим теплом и запахом разо-
гретого масла. Опять луна переменяла место.
Она далеко за кормою, над золотым огром-
ным озером, которым стал теперь Босфор сре-
ди сомкнувшихся берегов... И, еще раз сбе-
жав, увидел я черную фигурку, на коленях,
спиной ко мне, стоящую на крышке трюма.
Она садилась порою на пятки, как делают это
во время молитвы, порывисто поднималась,
что-то искала в рогожке, служившей ей вме-
сто молитвенного коврика, и опять откиды-
валась и, воздевая руки, страстно кратко, с
несказанной болью и мольбою вскрикивала:

— Юсу-уф!

И я все понял.

Он, этот маленький турок, заснул, набор-

мотавшись, напевшись спьяну греческих песен. Он проспал все Мраморное море... И вдруг очнулся возле самого Стамбула, отнявшего у него сына... Он покорно, как истый муслим, принял и затаил в сердце свое горе. Никто не замечал следов скорби в его равнодушных морщинах, в бесстрастно поднятых бровях и висячих усах. Да и слишком тупо ныла эта скорбь в его сердце. Но вот это путешествие в Коваки, эти чужие люди, начавшие угощать его махоркой и огненной водкой... Сведенный ею с ума, чувствуя, что он плывет в город самого падишаха, стал он с болезненным восхищением вспоминать, как увозили туда его сына, представлять себе с непонятным восторгом, как убили его в Аравии... И свалился, наконец, потерял сознание... А потом вдруг очнулся. Что-то тяжело томило его в пьяном, тяжком сне. Когда же открылись его глаза, почувствовал он позднюю ночь по той тишине, которая окружала его, увидел величавый и фантастический в лунном свете призрак Стамбула — и внезапно, всем существом своим, постиг всю глубину того, что сделал Стамбул с его никому не нужной, жалкой

жизнью и с прекрасной молодостью Юсуфа. И это о нем, о сыне, рассказывал он хохотавшим русским собакам!

Я подошел к нему. Он повернул ко мне бледное в лунном свете, все мокрое от слез, с мокрыми висячими усами лицо, выпучил на меня свои бараньи, остекленевшие от алкогольного яда, от рыданий и натуги глаза... Зачем под ним эта скомканная рогожка? Он вспомнил еще и то, что проспал вечернюю молитву, и кинулся, падая и опять поднимаясь, расстилать эту рогожку. Но до молитвы ли! Все мешается в его мозгу, он чувствует только одно — ужас и тоску. И вдруг начинает кричать Стамбулу, лунной ночи, что он один и погибает. Нет, этого не может быть! Сын жив, он должен быть жив, он должен вернуться!

Я взял его ледяную руку. Он отшатнулся, вырвал ее. И опять, не сладив с хмелем, тяжело упал задом на пятки. Неудержимо катившиеся слезы застилали его изумленные глаза, пьяный насморк затыкал дыхание.

— Юсуф! — крикнул он тупо и кратко, как человек, вынырнувший из воды.

И завопил, затрясшись от рыданий, захлебываясь и простирая руки к Стамбулу:

— Юсуф! Юсу-уф!

Неслась вода мимо борта. Золотое озеро за кормою меркло.

28. VI.1911

Комментарии

Впервые напечатано 1 октября 2011 г. в газете «Русское слово».

В автографе рассказ озаглавлен «Атанас», а дата указывает на начало и конец работы над произведением: «26 — 28 июня 1911 г.» В основе сюжета рассказа, как видно из черновой записи, сделанной Буниным, лежит действительный факт: во время плавания матросы напоили для забавы пассажира-грека.